

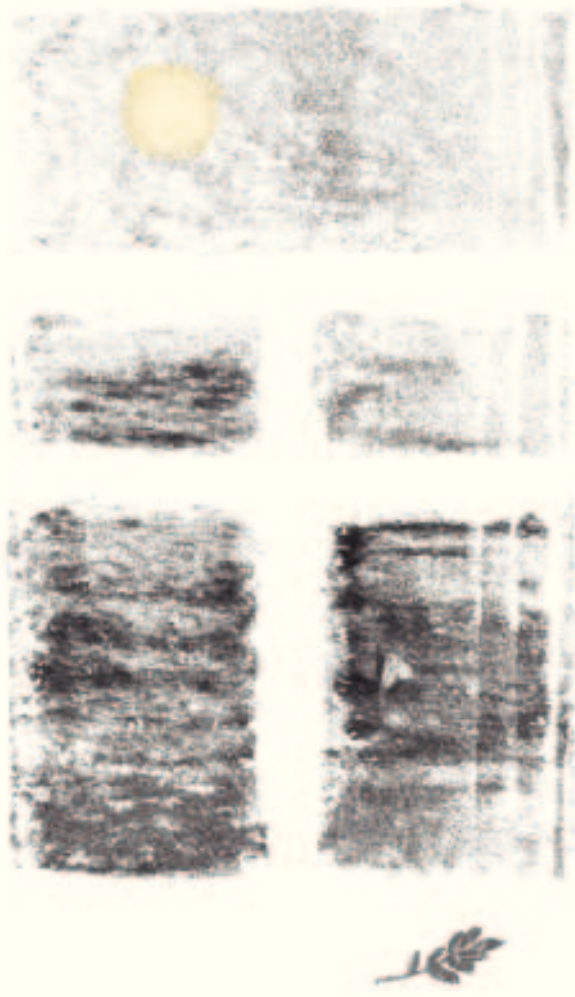
Алексей **КУДРЯКОВ**

СЛЕПАЯ ВЕРСТА



СЛЕПАЯ ВЕРСТА





* * *

Острый запах – это клей и воск.
Ацетон, полупрозрачный клей.
За словом склонившийся отец
над дорогой детскою копилкой

Времени течение и срывы
смысла, потраченной любви обломок:
самым нежным поступиться вами,
чтобы спать затем ещё спокойней.

декабрь 2015

А.К.

Алексей Кудряков

СЛЕПАЯ ВЕРСТА

Вторая книга стихов

Уральское литературное агентство
Екатеринбург
2016

ББК 84 (2Рос=Рус)6 - 5
К 889

В оформлении книги использованы
графические работы
Марии Смольяниновой

Кудряков Алексей
К 889 Слепая верста: Вторая книга стихов. — Екатеринбург: Уральское литературное агентство, 2016. — 40 с.
ISBN 978-5-905095-08

Во вторую книгу Алексея Кудрякова, лауреата Новой Пушкинской премии (2014), российско-итальянской премии «Белла» (2015), вошли стихотворения, написанные в 2012–2015 гг.

© А. Кудряков, 2016
© В. Гандельсман, предисловие, 2016
© М. Смольянинова, оформление, 2016
ISBN 978-5-905095-08
© Ю. Мамчур, оформление, 2016

Что нам слепая верста

Остановимся возле «слепой версты» и заглянем в словарь, благо мы зрячи.

Первичное значение слова «верста» – поворот плуга; то есть – трогательное определение! – «длина борозды (между поворотами плуга), которую вол может пройти в один раз не утомляясь».

В стихотворении, открывающем сборник Алексея Кудрякова, читаем:

> Пахать, врезая в оподзол
> стальной остроугольный лемех…

Естественно, поэт собирается пройти свой путь, измеряя его своим метром, поэтическим. Пока не «оскудеет лов», как сказано в том же стихотворении.

Вёрстами называют и просто верстовые столбы. У Пушкина, скажем, они были не слепые, а полосатые: «Навстречу мне / только вёрсты полосаты / попадаются одне…» – а слепая – вероятно, едва различимая. Когда из-за солнца дождя почти не видно, говорят: слепой дождь.

Продолжая поэтические аналогии, можно сказать, что поэт не знает, какой путь ему предстоит пройти, так же, как он далеко не всегда знает, чем закончится стихотворение, и даже какой рифмой увенчается строфа. Верста, пройденная вслепую? Эта непредсказуемость может принести радость. Если повезёт.

Поэтическая ясность – не есть предсказуемость, она ясность интуитивная, выраженная в решимости поэта, его внутреннем непреклонном знании, что другого пути нет.

Стихи «Три взгляда». Как три богатыря на распутье, три восьмистишия, три взгляда: из дома – за окно, в окно – со двора и – в пространство между двойных стёкол, в некоторое пространство времени, если так можно сказать:

> Полубытие, полузабвенье –
> как защита от возможной раны,

и ничто, связующее звенья:
времени прозрачная мембрана.

«Полубытие, полузабвенье» – важные слова для понимания взгляда А. К. на жизнь, на поэтическое ремесло, и, думаю, этот третий путь – свершившийся выбор автора.

Тема замечательно развита в стихотворении «Голос».

Затем что страсть – сомнительный оплот,
как и любовь, со мною будешь связан
лишь памятью, а я – наоборот –
беспамятством, так наш семейный плот
минует Стикс, чей плеск однообразен.

Память и беспамятство здесь перекликаются с полубытием и полузабвеньем в стихах «Три взгляда».

Из памяти и беспамятства рождается истина, другими словами – стихи. Память – это то, в чём растворено беспамятство, которое не существует, если его не вспомнить. Но если его не вспомнить, то память не нужна. Беспамятство – это то, что хочет быть вспомнено, иначе – зачем оно?

Проще говоря: вечное, растворённое в человеке, пребывающее в нём в беспамятстве, и сиюсекундный человек со своей сиюсекундной памятью должны встретиться. Секунда обязана найти себя в неуничтожимости. «Времени прозрачная мембрана» обязана себя обнаружить в этой встрече и зазвучать.

«Голос» – многозначное стихотворение. Можно определить память как следование традиции, а беспамятство как говорение вслепую, как слепую версту… А там – как повезёт, но без неё, без неизбежной и опасной новизны традиция превращается в немощь.

В религиозной жизни полнота познания приходит через духовное ве́дение, а не человеческую мудрость. Также и в поэзии: рассудок и логика, опирающиеся только на традицию, не способны постичь истину. Для её постижения необходимо движение в сторону непознаваемого, в сторону беспамятства, «слепой версты». Необходимо, простите за высокопарность, духовное свершение.

Это ведомо А. К. Сам ли он приблизился к пониманию сего или с помощью религиозных философов – не имеет значения. Ведомо – и всё тут. И поэтому он идёт: «… дальше от плена, ближе к обетованной земле. / Где она – родина?

Путь исключает роздых». И путь этот совсем не гарантирует поступательного и победоносного движения. Музыка «косноязычья затопляет дамбу / и разливается, свой переплеск / доверив дактилю, хорею или ямбу, / но замершие строфы, как пруды, / так скоро зарастают тиной, / что остаются окна голубой воды – / и только: речь становится плотиной». И значит – всё надо начинать по новой.

Музыка не может быть заигранной, как пластинка, и в книге А. К. она звучит мощно, свежо и разнообразно, в том числе в стихах, посвящённых композиторам: «Бетховен» и «Ave Maria». И это не случайно, если вспомнить слова Бетховена о том, что музыка – это медиум между духовной и чувственной жизнью.

Музыка звучит с особенной для меня пронзительностью в стихах, посвящённых детству: «Две главы с эпилогом» и «Из детства». В первом – чудесная описательность и доскональное перечисление всего, что зримо, одухотворены открытием мира – его до слёз яркостью и той соразмерностью, которая делает детство счастливым, но только много позже являет себя в словах поэта. Если повезёт.

Мне восемь долгих лет. Субботний день
в деревне кажется длиннее прочих,
особенно в осеннее ненастье
последней трети августа, когда
короткие дожди смывают сажу
с листов рябиновых – и пахнут дымом;
чадят костры на огородах, трубы,
опальное – к закату – солнце, ночь…

Жаркая баня, потом, во второй части, выход в ночь, к звёздному небу. Читатель прочтёт эти стихи и, я уверен, благодарно откликнется на воскрешённую жизнь. Поэзия – безусловное второе пришествие. Не ожидаемое, но сбывшееся.

Во втором – «Из детства» – ребёнок видит:

С колосника упавший уголёк
вдруг осветил запечный уголок,
лесной полёвки
застывший ком – размером с мой кулак.

Нет ничего без страдательной чувствительности, без жалости, которая пробуждает душу. Жалость и восхищение,

восхищение и жалость, избыток жизни и рядом – вдруг – смерть. Марсель не заснёт без поцелуя матери. Катулл должен похоронить воробья, а Овидий попугая. «Так начинают. Года в два…», «Я – маленький, горло в ангине…», «В начале жизни школу помню я…» Нет конца и края этим абсолютным свидетельствам пробуждения души.

Один из поэтов пушкинской плеяды, которого особенно, мне кажется, почитает автор, – Евгений Баратынский. Стихотворению «Стожары» (а Стожары – древнерусское название звёздного скопления Плеяды) предпослан эпиграф из него: «Есть бытие; но именем каким / Его назвать? Ни сон оно, ни бденье…» Те самые «полубытие, полузабвенье» А. К. Но об этом довольно.

Я хотел бы в связи с Баратынским сказать о другом. О совершенно глубинном и главном, что роднит с ним А. К. «Прилежный, мирный плуг, взрывающий бразды, / Почтеннее меча, – полезный в скромной доле, / Хочу возделывать отеческое поле». Так пишет совсем молодой Баратынский. А через двадцать лет, не отрываясь от плуга, он создаёт, возможно, лучшие свои стихи – «На посев леса». «Опять весна; опять смеется луг, / И весел лес своей младой одеждой, / И поселян неутомимый плуг / Браздит поля с покорством и надеждой».

Дочитав книгу А. К., я увидел последнюю строку последнего стихотворения: «…что нам слепая верста по непролазной грязи». И подумал, что, вероятно, понял всё неправильно. И следом: если я понял *всё*, это не может быть неправильным.

Я начал предисловие с расшифровки слова «верста» и закончу повторным упоминанием этого слова. Верста, иначе поприще – русская путевая мера. Говорят, она впервые упомянута в книге «Житие и хождение игумена Даниила из Русской земли»; это – цитирую – «древнейшее из русских описаний паломничества в Святую землю. Для всех последующих русских хождений этот памятник начала XII века послужил образцом».

Паломничество в Святую землю русской поэзии продолжается, и на этом поприще (на этой версте) я желаю Алексею Кудрякову удачи, которой в высшей степени отмечено начало пути.

Владимир Гандельсман, декабрь 2015 г.

❊ ❊ ❊

Д.

И пусть, как прежде, ко степи
бредут халдеи и холу́и,
соорудим не костыли
из деревянных строк – ходули.
Не чтоб собой принизить твердь,
не в ожидании мессии, –
у переправы дать ответ:
всеобщей грязи не месили.

В лабазе на дубовом пне –
не в башне из слоновой кости –
мы будем жить, храня в дупле
колосья слов, что время косит.
Пахать, врезая в оподзол
стальной остроугольный лемех,
ловить самих себя, дозор
неся на быстротечных мелях.

Когда же оскудеет лов
и вдруг не уродятся злаки,
мы налегке покинем кров,
сообразив, что это – знаки.
Раз Вавилон уже отпет,
а мы – что выгнутая спица, –
колечком выкатимся в степь
из Колеса – со степью слиться.

Три взгляда

1.

Зимние не выставлены рамы –
майским утром холода всегдашни, –
а уже из-под земли упрямо
тянется нарцисс – у края пашни.
Бел, что снег, и смотрится героем
в чернозёмно-чуждом окруженье,
вскормленный водой и перегноем,
как воображеньем – отраженье.

2.

Комната в пустом, безлюдном доме –
если подойти к провалам окон, –
то же, что запрятанный в соломе,
наизнанку вывернутый кокон.
Трещинка в пространстве, от которой
свет за тьмой пускается вдогонку,
создавая свой мирок за шторой,
втягивая тишину в воронку.

3.

Капельки дождя и конденсата
парных стёкол; красно-белым кряжем
гроздь рябины и сухая вата –
между натюрмортом и пейзажем.
Полубытие, полузабвенье –
как защита от возможной раны,
и ничто, связующее звенья:
времени прозрачная мембрана.

Рейнские песни / Заречье

Далёкой песни рейнская волна,
пройдя теснины радионастройки,
из колебательного контура вольна
наплыть на берег, где электротоки
преобразятся в гармоничный строй,
нечаянную радость, – в те моменты
знакомая мелодия над суетой
звучит печальней, чем с магнитной ленты.

Иная музыка – ещё не треск –
косноязычья затопляет дамбу
и разливается, свой переплеск
доверив дактилю, хорею или ямбу,
но замершие строфы, как пруды,
так скоро зарастают тиной,
что остаются окна голубой воды –
и только: речь становится плотиной.

Голос

Затем что страсть – сомнительный оплот,
как и любовь, со мною будешь связан
лишь памятью, а я – наоборот –
беспамятством, так наш семейный плот
минует Стикс, чей плеск однообразен.

Я – не жена тебе, ты мне – не муж,
скорее, материнство и сыновность –
определение для наших душ,
оставить если в стороне условность,
кровосмешения земную глушь.

Подобно вечной женственности, я
растворена во всём, в былом, в грядущем,
случайный выдох – лепка бытия:
дневные дежавю и сны с удушьем
ночами, когда смята простыня.

Я говорю с тобой, поскольку ты
мне неизвестен – ты в моей утробе,
в своём начале или же во гробе –
не важно! чувствуешь, как с высоты
моя нисходит тень – к твоей? и обе,

сплетаясь, обретают имена…
Как дымка и эфир, я бестелесна,
твои толчки – рождение меня,
в границах осязаемых и тесных,
но прочных – до скончанья века, дня.

Когда я мыслима, я – хорошею,
беспамятство и память – наш оплот!
но знай: вотще опасен оборот,
что пуповина обвивает шею
и умертвляет нерождённый плод.

Бетховен

Ещё не глухота, а только шум прилива,
на берегу пустынном первые следы,
что, осердясь, волна смывает торопливо.
Чудесней камушков с прослойками слюды
огни на мачтах, маяки у горизонта,
но чудо из чудес – голубизна воды.
Ещё прерывист и невнятен рокот Понта,
ещё доносятся земные плач и речь,
когда наплывы пены каплями, понотно,
касаются ступней, колен, запястий, плеч.
Над головой смыкается прозрачный купол,
чтоб первозданное молчание стеречь.

Теперь, когда солёный холодок окутал
тончайший слух и в теле, от мизинцев рук
до пят, зашёлся страх – и узелок распутал,
душа свободно проникает в первый круг
закрытой тишины и сладостных созвучий.
Став пузырями воздуха, исчезло вдруг
земное время. Лишь игольчато-колючий
в груди теснится выдох, что забыт пловцом,
как ветер, плески вёсел или скрип уключин.

Оркестр подводный обступил его кольцом,
протяжный звук издали водоросли, лилий
тройной аккорд встревожил краба, что альтом
вступил и смолк, а после медленно проплыли
два лирохвостых ангела, кораллов хор
таил молчанье флейты в бархатистом иле.
У всякой рыбы свой, но отрешённый взор,
поскольку длится между временным и вечным,

и немота – без слов премудрый разговор.
Не потому ли и соблазн поддаться встречным
теченьям и всплыть сменяется иным –
уйти на глубину, достигнуть дна, чтоб лечь там…

Кто слишком глубоко нырнул, но был храним
морской Звездой – и возвратился, ICHTHYS, Рыба,
тот, словно нотную линейку, перед ним
из бездны проложил ходы, в которых либо,
отчаявшись, замолкнуть, либо смерти близ
расслышать раковину посреди полипа.

На берегу жемчужина. И лёгкий бриз.

* * *

Вот воин, плавая навагой…
А. Введенский

Реки опасные излуки,
и вешки на местах разлуки,
и перекатов камни-звуки
не пресекают бегства.
Вот правит челноком воровка
(завидны смелость и сноровка),
путь преодолевая ловко
из молодости в детство.

И тут же вниз ведёт шаланду,
искусно пряча контрабанду,
воспоминания баланду
и угрызений корки.
Не прокричать вослед «ужо ей!»,
сама, покрывшаяся ржою,
забившись в угол, ест чужое,
свои куски не горьки.

Когда вода не вяжет лыка,
товарка, что как медь двулика,
наперсница и повилика,
идёт вплотную с брегом.
Но вновь, течением гонима,
уносится прощенья мимо,
долдоня собственное имя,
сливаясь с имяреком.

В одну и ту же реку дважды
не бросится пловец отважный,
и даже взгляд скорбящий, влажный
не передвинет устья.
И понапрасну долго-долго
несёт мифическая Волга
подонка, плоскодонку, только
в её Каспийском пусто.

* * *

Лампы настольной расходящиеся круги,
эллипсис света, скользящего по странице.
Время — через пробелы — внутри строки
тянет подспудно полки-вереницы
образов, становящихся по одну
сторону памяти, действительность — по другую.
Не перейти это поле, точно *Чермное* море по дну:
льды не отступят — вязнешь в торосах, пургуя,
дальше от плена, ближе к обетованной земле.
Где она — родина? Путь исключает роздых.
Тот же бескрайний текст, мечта о тепле,
жёсткий снег и морозный воздух.

13–17 января

Две главы с эпилогом

Мне восемь долгих лет. Субботний день
в деревне кажется длиннее прочих,
особенно в осеннее ненастье
последней трети августа, когда
короткие дожди смывают сажу
с листов рябиновых – и пахнут дымом;
чадят костры на огородах, трубы,
опальное – к закату – солнце, ночь…
В руке ведро; в исподнем и в галошах
спускаюсь в сад: не столько для того,
чтобы набрать обитых ветром яблок,
сколько – озябнуть, надышаться впрок
вечерней мятною прохладой. После
бегу трусцой в натопленную баню –
мирок, вместившийся в четырёхстенок,
где собственные реки, плоскогорья,
лавиной жара пышущая Этна
и Тартара во тьме сырое дно…
Сажусь подальше от печи; приступок –
излюбленное место: между дверью
и до краёв наполненной кадушкой.
Всё соразмерно: лавка и тазы,
ковши и рукавицы, я и время.
Уютно, осязаемо, тепло…
Затем с опаской поднимаюсь выше;
улёгшись на полок, считаю брёвна,
чуть ближе подступившие, – и мне
хватает пальцев рук, двузначных чисел.
На потолке застывшая смола
в себя вбирает тусклое свеченье
сорокаваттной лампы. Пар и копоть

сгущаются, становится тесней,
горячий воздух обжигает ноздри,
я задыхаюсь и срываюсь вниз.
На мокрых досках, возле сточной ямы,
пережидаю светопреставленье:
доносятся кряхтенье, скрежет жести,
шипенье кипятка в чугунных недрах,
по голым спинам разнобойный хлёст.

…Не ощущая тела и не помня,
как очутился за порогом, жадно
дышу; в тревожно скором темпе сердце,
сбиваясь с ритма, путается в сильных
и слабых долях. Вьющийся туман
восходит, постепенно истончаясь,
к стропилам, козырьку, холодным высям.
Открывшееся перед взором небо
ошеломляет раздроблённым блеском
и аспидной слоистой чернотой.
Противоток пульсирующей крови
и мерное вращение Земли
сливаются в одно… Застыв на месте
и запрокинув голову, над полем
я нахожу Полярную звезду
и привожу в движение созвездья,
как циркулем на грифельной доске,
очёркивая взглядом дуги… Нечто,
пройдя вдоль позвоночника, стремится
вовне, – и плечи сводит дрожью. Кто-то –
наверное, отец – мне шепчет глухо:
«Меня гнетёт извечное молчанье
далёких звёзд». Полуночную свежесть
сменяет острый ледяной сквозняк…
Что если только видимость, химеру
собой являет множество светил
и яркие мерцающие точки

скрывают пустоту, провал, зиянье,
своими запоздавшими лучами
вводя нас в заблужденье, сладкий сон?
Тогда ещё страшней, и нет опоры –
ни для стопы, ни для высокой мысли, –
пусть даже самой шаткой, никакой.
Уж лучше рукотворный тот застенок,
где я могу – в прыжке – коснуться крыши
и всё знакомо: веники, вехотки…
И так ли жарко, тесно было в нём?
Вконец продрогнув, я спешу обратно,
и новый круг – такой же, как всегда.

Пустой предбанник, жёсткая лежанка,
бельё, небрежно брошенное в угол,
открытая отдушина, окно…
Нет помощи и нет прямой угрозы
в укрытии, в котором и поныне
я пребываю – в малодушной дрёме,
один, не ведая, на что решиться.

Март

Бесформенные пятна: охра и свинец,
по краю ржавчина, ряд бирюзовых линий,
два сочных розовых мазка и, наконец,
расплывчатый автограф каблуком на глине.

Ни света, ни объёма. Отступив на шаг,
я пристальней взглянул на свой этюд и вскоре
смог различить за ямкой, где стоял башмак,
сырого снега серебристые валёры,

рельефно-белый оседающий сугроб,
чуть тронутый лазурью, известью и сажей,
завалинку, узоры муравьиных троп
(скорей угадываемых, мельчайших), даже

тень от гвоздя. Но выше начинался плёс,
волнообразные перемещенья цвета, –
взгляд потонул и только чудом меж полос
вдруг уцепился за стальную шляпку: это

обитая вагонкой – во всю ширь! – стена.
Затем с опаской, ощупью, рывком, с наскока,
вдоль синих трещинок, по мрамору окна
и цинковому жёлобу – до водостока,

с которого каскадом в тёмное нутро
железной бочки, с чёрной вмятиной, дырявой.
Извилистая струйка ловко и хитро
легла между камней, переходящих в гравий

и в глинистый раскисший снег. Сейчас и здесь,
увидев в будущем своё воспоминанье,
я сожалел, что колорит, фактура – весь
звучащий мир подробнее на расстоянье.

Чем дальше, тем опасней. Чтоб не соскользнуть
в иную – вязкую – бесформенность, где имя
теряется и меркнет свет, дано прильнуть
не к мигу – к видимости, в памяти хранимой.

Из двух картин – которая реальней? – раз
сегодняшнее слепо, будущее зорко.
И розовую кляксу дорисует глаз?
что это: фантик, брошенный платок, заколка?

Стожары

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье…
Е. А. Баратынский

Закладка – на пол, книга – на колени.
В печи давно сгоревшие поленья
пора разворошить, прикрыть трубу.
Но тело, не привыкшее к труду
(хозяйство, дом), утяжеляют лень и
усталость… Полночь, неизвестный страх.
Я чувствую, как бьётся кровь в висках
и сквозь меня проходят поколенья.

Ледащая фигура, спинка стула.
Душа покинула меня, уснула,
стоит, как соглядатай, за плечом?
Как странно быть свидетелем (причём
пристрастным) и героем – то есть гулом
и отзвуком… Ряд снимков на стене.
Нетвёрдый взгляд… Родных – в толпе теней –
угадываю по татарским скулам.

Сижу мальцом в застиранной тельняшке
(нож перочинный затаив в кармашке
коротких брюк), серьёзен, как жених;
зажат в ладони кукурузный жмых,
над тополями – белые барашки…
А выше – поле, чёрная кошма,
махорка, дым (минувшего кошмар),
кирза, портянки, мой глоток из фляжки…

«Цветущий май», сирень, конец урокам,
рука (над *срезанным* плечом), с упрёком
гляжу в глаза его (жаль, не видны).
Не это ль выражение вины
и горечи (полвека будут сроком)
застынет на лице, когда узлом
затянется безвыходность со злом
вкруг нежности старушечьей без прока?

Одариваемый – я меньше дара…
Чуть кружит голову (как бы угара
легчайший бред). Мне не под силу груз!
В сенях, рукой ощупывая брус,
ищу задвижку… темень… два удара:
слепой и резче, – поддаётся дверь.
Ступаю на пружинящую твердь –
земля, огни, мерцание стожара.

Мозаика

Что сердце? огород неполотый…
М. Кузмин

Не огород – скорее, вертоград
непроходимый иль цветник заброшенный:
начало запустения, разлада…
Бог-огородник урожаю рад,
для праведных взрастил небесный Сад,
но, пустоцветная, что луг нескошенный,
душа распаду собственному рада.

Переплетения кустов и трав –
о, как пушицы фонари вблизи горят! –
мне преграждали путь, когда упрямо
я брёл сквозь заросли… Душа, вобрав
всю соль земли, иных взыскует прав:
тесна закона каменная изгородь,
когда за ней открыта панорама.

Я рассмотрел листа живую ткань:
зубцы, прожилки – торжество симметрии,
окраску без отметины болезни, –
и вилами размётанную стлань…
Бессмыслицы сверкающая грань,
душа не тщится вырваться из смерти: и
цветок, и лист, и ветка – бесполезны.

Ни известь, ни железно-серный яд,
ни бром не остановят омертвения,
начавшегося с крапинки, пылинки, –
причудливей становится наряд,
и вглубь уходят корни… Нет назад
пути, раскаяние – род забвения:
душа не меньше мыслящей былинки.

Как тонок увядания узор!
И как догадка, ставшая архаикой:
недуг и совершенство – побратимы, –
горька… Но если это так, то взор,
души болящей оправдав позор,
пусть восхитится листовой мозаикой,
чьё разрушение необратимо.

После закрытия сезона

1. Эльба

Как Страстная седмица – с пальмовой ветви, вербы,
бесконечный январь начинается с майской Эльбы.
Растекается морок, заполняя низины, торбы
и глазницы спящих… После побудки, сколь бы
ни был короток сон, не поднять ни сумы, ни взора
на соратника, исходившего солончаки Азова
(или прерии Индианы). В перекрестье визира
пилигримы четвёртой – последней – волны призыва
замирают на стылом ветру… Широко и грузно
опускается занавес вдоль ледяного русла.
Между снежных пределов бьётся однообразно
искажённое эхо – в попытке разрушить прясла.

13-18 января

2. Уральский утриш

По весне там всегда возводили типи
из жердей и брезента – дорожный сквот.
Бородатых мужчин называли «хиппи»
в заповедной глуши, а их женщин – «скво».

С большака у шалмана сбегали тропы,
возвышаясь в юдоли, – ни дать ни взять
каменистые гривы в таёжной топи;
за мостками – мостки, и за гатью – гать.

Где подкова хребта огибает пустошь
и змеистые стёжки сплелись узлом,
раздавался сезонный «уральский у́триш»,
как восхода в ночи золотой разлом.

Перекатная голь, мудрецы, калики,
зимогоры окрестных «скалистых гор»
составляли единый и многоликий
поколенческий круг – безглагольный хор.

Подвизался герой, словно в немереце
очутившись с гуртом посреди пути,
проводя сквозь тенёта заумной речи
голоса, пребывавшие взаперти.

И, аршинного свитка – готовой книги –
покидая пределы, вслед за собой
уводил малых сих, что чернец-расстрига
обращённых – на гульбище и разбой.

Осыпаясь в курумы, гранитным плитам
возносить не шиханы, но – имена…
Разбитное содружество, став разбитым,
обрело свои личные письмена.

Азиатская ночь залегла в долине,
где, оставленный всеми, вкушает сон –
растреножив козлиную песнь, – Далиле
на колени сложивший главу Самсон.

Ave Maria

Северная сторона,
точно стланик, земле покорна,
поднимается ото сна
под звуки горна.

Низкорослые дни
тянут к солнцу ладошки,
проворачивая шестерни,
раздувая меха гармошки.

Клуб, котельная, корпуса –
эсхатология ренессанса.
Визги и голоса:
последнего ждут сеанса.

В череде трудодней
жизнь – сиюминутна,
но за скрежетом всё слышней
орган и лютня.

Синкопический строй,
душевная аритмия, –
и взлетающее стрелой
«Ave Maria».

XXIV съезд;
столетия после кончины
вспыхнувшего среди звезд
божественного Каччини.

Диск дрожит под иглой,
как блюдце в кругу, – бельканто
струится, ведя за собой
дух музыканта,

не оставившего следов
небесной отлучки –
за простейшим из всех ладов –
безвестного самоучки.

Из детства

С колосника упавший уголёк
вдруг осветил запечный уголок,
лесной полёвки
застывший ком – размером с мой кулак.

гуденье слов: блокада голь гулаг
чужих неловких

Не убоявшийся кленовой палки,
слежавшийся из войлока и пакли
бескровный шар
темнел на кирпичах – напротив полки.

у выстуженных стен в одной футболке
бросало в жар

Я думал, как на скорое тепло
её под снегом мартовским влекло
к остывшей бане
и замерзали капли на стекле.

где прячется её душа: в дупле
в норе в чулане

Так, между каменкой и штукатуркой,
в подпалинках морщинистая шкурка
меняла цвет,
дрова горели, как закат за шторкой.

оледенелый снег страны широкой
горел в ответ

❊ ❊ ❊

В эту зимнюю ночь говорить – что молчать.
Пусть звенит колокольчиком «call her moonchild» –
разгоняет полынный полуденный чад
над окраиной вьюжной,

полупамяти нашей монгольскую степь,
вдоль зелёной обочины медленный степ,
пикники и – сквозь время – побег-автостоп
растворяет в потоке.

Конопляное семя молочной реки
прорастает бессмысленным жестом руки,
выводящей последние буквы строки, –
перед тем как исчезнуть.

Проступает действительность снежным бельмом,
бесконечную даль затянуло быльём –
будто кто-то наутро постельным бельём
занавесил округу.

13-14 января

Фантазия

Не заросли густой сирени и
не тёмных глаз миндаль –
воспоминание: скорее слух, чем зрение,
сквозь полог времени и даль,
подёрнутую поволокой,
пленяется печалью волоокой
соцветий, исходящих ядом, –
восточным взглядом.

Не памяти движение – мотив,
волной качаемая зыбка,
фортепианный рокот – всполох – скрипка,
новорождённый ритм: прилив, отлив.

Мелодии отяжелевшей гроздь,
томимая лиловым жаром,
вплывающая бархатистым шаром
в ночь – лопается оболочка света – горсть
пятиконечных искорок, исторгнутых
из пламени и льда, – восторг иных
миров…

Не музыка – сводящая с ума
фантазия, которой грузом
последним служит видимость сама;
подобны драгоценным друзам
видения –
сирень, мечты владения.

Алмаза угольное естество,
преображённое надмирным светом:
осуществлённая гармония, при этом
не разложимая на дух и вещество,
добро и зло в своём пределе.

Безумие, угаданное как
преодоление конечной цели
и антиномии, как следующий шаг…

Пространство, обречённое на убыль,
в котором скрылись от земного шума:
в Тамару
влюблённый Врубель,
по водам
идущий Шуман.

* * *

Осины плод – осиное гнездо:
сосредоточье зла и силы;
осоловелый взгляд, осеребрённый вздор,
тоска о Сыне…

Осанна! Осени считать до ста –
и наземь с сучьев отрясать *постылых*:
плод тем спелее, чем уста
смелее были.

Шар, изошедший ссохшейся слюной,
горчащим мёдом с падью,
стремясь к *иной* стране, немотствует струной –
её не смерить пядью.

❄ ❄ ❄

Острый запах – что копьё и оцет.
Ацетон, полупрозрачный клей.
За столом склонившийся отец
над разбитой детскою копилкой.

Времени течение и сдвиги
смысла, жертвенной любви бочаг:
самым ценным поступиться вмиг,
чтобы стать затем ещё богаче.

* * *

Семь наказующих стрел возлюбив умягчённым сердцем,
долу припав, ослабев от непогоды в ночи,
поодиночке, во тьме египетской, шёпотом вси рцем:
– Взвейся, душе, опустись – здесь ты, что ветер, ничья.

Хладно дыханье земли – растворение малых воздýхов, –
общей рогожею нас всех покрывает до стрех;
тесно в российском зимовье от причитаний и вздохов:
старше последних времён первый младенческий страх.

Жертвенность и самосуд. – Частицу, душе моя, вынь – и
наше, себе приобщась, ввек естество не умрёт.
Будут умащены – родостамой, росой благовонной,
маслом – земные тела, сиречь: гниенье и смрад.

Смерти, душе, не страшись – прозябания зыбкого лона:
за огородами здесь те же болотные рвы,
жижа и торф – студенец истления. – Будто из тлена
не прорастают аир, вереск, осока-трава.

Самостью горней полна и времени единосущна,
бренной надеждой не грезь, нам немотою грозя,
ибо с глаголом в устах отверстых мы страждем изящно:
что нам слепая верста по непролазной грязи.

Содержание

Владимир Гандельсман. Что нам слепая верста 5

«И пусть, как прежде, ко степи…» 9
Три взгляда 10
Рейнские песни / Заречье 11
Голос 12
Бетховен 14
«Реки опасные излуки…» 16
«Лампы настольной расходящиеся круги…» 18
Две главы с эпилогом 19
Март 22
Стожары 24
Мозаика 26
После закрытия сезона
1. Эльба 28
2. Уральский утриш 28
Ave Maria 30
Из детства 32
«В эту зимнюю ночь говорить – что молчать…» ... 33
Фантазия 34
«Осины плод – осиное гнездо…» 36
«Острый запах – что копьё и оцет…» 37
«Семь наказующих стрел
возлюбив умягчённым сердцем…» 38

Литературно-художественное издание

Алексей Кудряков

Слепая верста

Вторая книга стихов

Корректура О. Новоселова

Уральское литературное агентство
6200075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина,12

Сдано в набор 12.02.2016. Подписано в печать 12.03.2016.
Формат 64 х 90 1/16. Гарнитура PT Serif
Печать офсетная. Бумага ВХИ. Усл. печ. л. 2,5
Тираж 200 экз. Заказ № 27

Отпечатано с готовых пленок
в ГУП СО «Режевская типография»
623750, г. Реж Свердловской области,
Ул. Красноармейская, 22